

С.В. Максимов¹

Александр Николаевич Островский
(По моим воспоминаниям)

Если с Большой Лубянской площади пойти по Солянке, мимо Опекунского совета, в котором некогда находилась в закладе и перезалоге почти вся помещичья Россия, повернуть налево, то ударишься (как говорят в Москве) в узкий переулок. Огибая церковь Иоанна Предтечи и делая длинное и кривое колено, Серебряничный переулок приводит на поперечную улицу. Прямо против устья переулочка стоял неказистый деревянный дом обычного московского пошиба. Обшит он был тесом и покрашен темною коричневою краской; размерами небольшой, в пять окон. С улицы он казался одноэтажным, так как второй этаж глядел окнами на свой и соседний двор. Дом стоял на самом низу, у подошвы горки, и начинал собою ряд других домов такого же узенького, но на этот раз прямого переулочка, примыкающего на верхушке к церкви Николы в Воробине².

Московской городской управе на этом некрасивом доме, следуя добрым обычаям петербургской, уже не доведется прибить доску с надписью, напоминающею о том, что, в честь родного слова и во славу отечественного искусства, здесь жил и работал Александр Николаевич Островский. «И ста запустение на месте святе»³: домовое место прорезано теперь новым переулочком, носящим иностранное имя, вероятно, того фабриканта, который взгромоздил тут же на углу безобразное здание своего заведения, а против него выстроились два дома, покрашенные голубою краской⁴. <...>

Прямо перед окнами А.Н. Островского расстилался обширный пустырь, принадлежавший народным баням, исстари называвшимся «серебряными», — и, вероятно, они были первыми в Москве общими и торговыми; по крайней мере, упоминание о них во владенных старых актах относится ко временам царя Алексея. <...>

Из окон второго этажа, который занимал Александр Николаевич в пятидесятых годах, и мы видали виды, которые также ушли в предание: выскакивали из банной двери такие же откровенные фигуры, какие изображены на павловских гравюрах⁵. Срывались они, очевидно, прямо с банного полка, потому что в зимнее время валил с них пар. Оторопело выскочив, они начинали валяться с боку на бок в глубоких сугробах снега, который, конечно, не сгребался. Затем опрометью же эти очумелые бросались назад в баню на полку доколачивать, ласково и ругательно, попеременно, обращаясь к парильщику, горячими намыленными вениками белое тело впрок и стальной закал «на предыдущее время». «Стомаха лее ради и частых недугов»⁶, для закрепления свежей стали в надлежащую оправу после горячей и дешевой бани имелся тут же и перед окнами кабак: в банные дни не переставая взвизгивала входная его дверь на блоке с кирпичиком.

¹ Сергей Васильевич Максимов (1831–1901) — писатель-этнограф, автор книг «Год на севере», «Крылатые слова», «Сибирь и каторга» и многих других.

² В приходе церкви Николы в Воробине, что у Яузы, Островский жил с осени 1841, сначала в большом доме вместе с отцом, а потом, со второй половины 1849 по октябрь 1877, во флигеле, о котором пишет мемуарист.

³ Неточная цитата из Евангелия от Матфея.

⁴ В начале XIX века огромная территория от церкви Николы в Воробине к реке Яузе и по самой реке вверх принадлежала барону Тесину, тестю Н.Ф. Островского, отца драматурга. По фамилии этого владельца и назван переулок — Тессинский, сохранившийся до нашего времени. Во второй половине XIX века в этом переулочке разместилась фабрика.

⁵ Гравюры, созданные в конце XVIII века неизвестным иностранным художником и посвященные императору Павлу I. На гравюрах, в частности, изображались Серебряные бани.

⁶ Выражение, вышедшее, как указывает Максимов, из стен духовных семинарий.

Предбанный пустырек и неказистый дом нашего драматурга обеспечен был полицейской будкой, ушедшей также в предание. Не столько охранялся он ею, сколько докучливо торчала она сама перед глазами, единственно с тою целью, что так угодно было начальству. Будку эту с подчаском занимал беззубый полицейский страж Николай, сделавшийся теперь (по крайней мере, лично для нас) также в своем роде лицом историческим, при всем ничтожестве его значения для обывателей. <...>

Гостеприимный хозяин жил здесь в простоте уединенного и неказового быта, подчиняясь всеобщим московским обычаям, намеренно не желая от них отставать, как заповедных и священных для него, в особенности как для коренного истинно русского человека в самом высшем значении этого великого слова. Так, между прочим, когда он жил в верхнем этаже, у него туда не было проведено звонка. И в этом он не отставал от соседей.

Когда медленным шагом и с опасливой оглядкой «не наша» цивилизация вместе с комфортом пробиралась по стогнам богоспасаемого града — Москвы (вскоре после крестьянской свободы), зацепляя, однако, и захолустные Зацепы, — звонки начали проводить во дворы. Надо было повеситься на ручке у калитки любого дома на Таганке и в Замоскворечье, чтобы вызвать заспанного сторожа и под защитою его входить со двора мимо лохматой собаки. Она испуганно надрывалась от лая до перехватов в горле, а привязана была таким удобным способом, чтобы всех входящих чужих возможно ей было хватать прямо за икры.

Удостоенные чести свободного входа в открытые двери, войдем сюда под радушный кров этого светила нашей литературы в то время, когда еще вокруг него и в нем самом весело играла молодая жизнь, — войдем, и

С благоговейною слезою
Благословим мы, что прошло,
И перед урной гробовою
Преклоним скорбное чело.

Действительно, особенная умилительная сердечная простота во взаимных отношениях господствовала в полной силе здесь, в безыскусственной обстановке жизни нашего великого писателя. Он в коротенькой поддевочке нараспашку, с открытою грудью, в туфлях, покуривая жуковский табак из черешневого чубука, с ласковой и неизменно приветливой улыбкой встречал всякого, кто получил к нему право входа.

<...>

Было бы недостойно памяти почившего драматурга и наших благодарных чувств, если б мы не послушались пословичного завета: «Из песни слова не выкинешь» — и прошли молчанием мимо первой спутницы его жизни в суровой нужде, в борьбе с лишениями, во время подготовки к великому служению родному искусству. Агафья Ивановна, простая по происхождению, очень умная от природы и сердечная в отношениях ко всем окружающим Александра Николаевича в первые годы его литературной деятельности, поставила себя так, что мы не только глубоко уважали ее, но и сердечно любили. В ее наружности не было ничего привлекательного, но ее внутренние качества были безусловно симпатичны. Шутя, приравнивали мы ее к типу Марфы Посадницы, тем не менее наглядными фактами убеждались в том, что ее искусному хлопотливому уряду обязана была семейная обстановка нашего знаменитого драматурга тем, что, при ограниченных материальных средствах, в простоте жизни было довольство быта. Все, что было в печи, становилось на стол с шутивными приветами, с ласковыми приговорами. Беззаботное и неиссякаемое веселье поддерживалось ее деятельным участием: она прелестным голосом превосходно пела русские песни, которых знала очень много. Хорошо понимала она и московскую купеческую жизнь в ее частностях, чем, несомненно, во многом послужила своему избраннику. Он сам не только не чуждался ее мнений и отзывов, но охотно шел к ним навстречу, прислушливо советовался и многое исправлял после того,

как написанное прочитывал в ее присутствии и когда она сама успевала выслушать разноречивые мнения разнообразных ценителей. Большую долю участия и влияния приписывают ей вероятные слухи при создании комедии «Свои люди — сочтемся!», по крайней мере относительно фабулы и ее внешней обстановки. Сколь ни опасно решать подобные неуловимые вопросы положительным образом с полной вероятностью впасть в грубые ошибки, тем не менее влияние на Александра Николаевича этой прекрасной и выдающейся личности — типичной представительницы коренной русской женщины идеального образца — было и бесспорно и благотворно. <...>

Вот вся та нравственная сфера и область деятельности и подвигов, в которой вращалось срединное светило, окруженное постоянными спутниками, по общим законам тяготения взаимных влияний. Подобно движению по проводникам обоих электрических токов, положительного и отрицательного (от него к ним и от них к нему), присутствие их по физическому закону стало незаметным и неуловимым, как только они соединились между собою. Очевиден лишь конечный изумительный результат: вольтова дуга накалилась, и заблестал яркий ослепительный свет.

— Поздравляю вас, господа, с новым светилом в отечественной литературе! – торжественно, с привычным пафосом сказал профессор русской словесности С.П. Шевырев, признававшийся тогда корифеем эстетической критики и бывший соредактором Погодина в «Москвитянине», где впервые и напечатана была комедия «Свои люди — сочтемся!».

Этот восторженный, смело и громко высказанный возглас последовал тотчас же за тем, как сам автор прочел на вечере у М.П. Погодина свою комедию и когда удалился (также слушавший ее) Н.В. Гоголь.

«Комедия «Банкрот» удивительная! Ее прочел Садовский и автор», – поспешил записать по горячим следам в своем дневнике Погодин с тою своеобразною краткостью, которой не изменил он даже в описаниях своего заграничного путешествия, давших случай остроумнейшему из русских писателей поместить в «Отечественных записках» («Записки Вёдрина») блестящую пародию, где соблюден и грубо отрывистый стиль писания, и поразительные выводами приемы суждений.

«От души радуюсь замечательному произведению и замечательному таланту, озарившим нашу немощность и наш застой, – писала Погодину графиня Евдокия Петровна Ростопчина, известная своею горячею преданностью интересам отечественной литературы. – *Chaque chose et chaque oeuvre a les défauts et les qualités*¹, поэтому нельзя, чтобы немного грязного не примешалось в олицетворении типов, взятых живьем и целиком из общества».

Прослушавши комедию два раза, она прямо и кратко выразила свой неподдельный восторг от пьесы таким искренним возгласом в другом из своих писем:

«Ура! У нас рождается своя театральная литература!»

Ко мнению Ростопчиной присоединился и другой правдивый и признанный судья, поэт и публицист, стоявший во главе славянофильской партии. А.С. Хомяков, любивший и знавший русский народ теоретически, также одобрял пьесу и предсказывал: «Ученость дремлет, словесность пишет дребедень, за исключением комедии Островского, которая — превосходное творение».

<...>

Не от избытков средств теплился и светлел приветливый очажок у Серебряных бань, когда нижний этаж дома отдавался жильцам, а сам хозяин уютился сначала и долгое время наверху. Борьба с нуждой велась незримо для посторонних глаз, но ясна была для окружающих, а от близких и доверенных в крайних случаях и не скрывалась. Далекое было до того довольства совершенно обеспеченного в материальном отношении Тургенева и даже до того скромного, каким, например, успевал обставиться Писемский. В немногих

¹ Каждая вещь и каждое произведение имеют недостатки и достоинства (фр.).

и тесных комнатах Островского не нашлось бы места тем широким оттоманкам Тургенева (привычку к ним не покидал он и за границей), на которых спокойно велись литературные беседы и беззаботно валялись довольные своим настоящим: счастливый в денежных делах Некрасов, обеспеченные отцовскими наследствами артиллерийский офицер, только что покинувший осажденный Севастополь, граф Л.Н. Толстой, умеренный и аккуратный А.В. Дружинин, обеспеченный доходами с журнала И.И. Панаев, очень богатый от чайной торговли отца В.П. Боткин и др.

Не помнится, чтоб у Александра Николаевича был даже письменный стол с общепринятыми приспособлениями и приличный такому работнику, но уютного и уединенного кабинета, обставленного удобствами, облегчающими занятия, положительно не было и нигде невозможно было заметить живых следов литературного труда. Деревянный дом принадлежал ему совместно с братом (Михаилом Николаевичем).

У Погодина нельзя было пожить: например, Эдельсон и другие получали по пятнадцать рублей с печатного листа мелкого шрифта, и только Алмазову иногда удавалось счастливо срывать двадцать — тридцать рублей. Островский за «Банкрота» получал по мелочам и всякий раз с наставлениями о сбережениях и воздержании, и вдобавок за ними надо было еще ездить в даль Девичьего поля на извозчике. Во всяком случае, великому драматургу приходилось испытывать горькую судьбу литературного деятеля в то время, когда подхваченные на сцене слова и выражения уже разносились по Гостиному двору, начиная с Ножовой линии, и чрез трактиры уходили в деревни, прямо в народ. Писатель становился в полной мере популярным и бесспорно народным.

При таковых-то условиях материальной оценки художественного труда, более мешающих, чем способствующих творческому настроению, приходилось работать Островскому, по крайней мере на добрую половину его авторской жизни. Их следует знать и помнить при оценке его первых трудов и при встрече с недостатками, обличающими торопливость и недоделанность. Под влиянием дружеских и товарищеских побуждений он должен был поспешать отделкой, поспевая к бенефисам, и под натиском нужды — изготовлением новых пьес к сроку выхода казовых новогодних номеров журналов. Нужда неотступно стояла за плечами, именно во все осеннее время и усиливалась по мере приближения рождественских праздников. «Сами знаете (писал он мне в одном из своих писем), в каком я положении нахожусь. К такому празднику, когда расходы удесятятся, быть совершенно без копейки — вещь очень неприятная. Я не знаю, что мне делать. Я просто теряю голову».

В это время возраставшей нужды и происходили ежегодно наши петербургские встречи, когда Островский привозил новые пьесы, читал их по вечерам избранным кружкам, приглашая артистов, входил в денежные соглашения с Некрасовым; иногда успевал прочитывать корректуру.

<...>

Между тем надвигалась беда. Чрезмерная работа последних лет оказалась губительной тем более, что целый год производилась порывами и тревожно. Эти волнения и ежедневные беспокойства в Москве оказались более убийственными, чем прежняя умеренная деятельность и правильно налаженные литературные занятия, когда привелось написать для русской драматической сцены сорок четыре оригинальных произведения¹, кроме некоторых переводных пьес². Литературные занятия, как всякое телесное упражнение, могли казаться здоровыми, но, чрезмерно возбуждая душевные силы, в то же время истощали и убивали тело, в котором уже успели угнездиться тяжелые недуги. Эта-то чрезмерность в труде, а главное — постоянное раздражение неприятностями по управ-

¹ Островским написано 47 оригинальных пьес.

² Переводных пьес восемь и написанных в сотрудничестве с двумя лицами: г. Соловьевым — четыре пьесы и г. Невежиным — одна. Из оригинальных пьес семь написаны стихами. (Прим. С.В. Максимова).

лению трупной¹, на податливой почве потрясенного организма и сделались роковыми, как всякое излишество, когда перед отъездом на лето в Щельково Александр Николаевич еще вдобавок и простудился. По целым часам от ревматических болей он не мог пошевелиться и ужасно страдал; дорогой впадал в обмороки.

А затем коротенький сказ, торопливое газетное известие на легком ходу:

«Утром в Духов день 2 июня (1886 г.) А.Н. Островскому внезапно сделалось дурно, и он скончался».

Совершилось ужасное событие, и разнеслась по России потрясающая весть:

Островского не стало!

Тем не менее, по искреннему и правдивому выражению, безыскусственно высказанному, между прочим, на двадцатилетнем юбилее его драматической деятельности:

Пройдут года — дойдет от дедов
Ко внукам труд почтенный твой,
И Пушкин, Гоголь, Грибоедов
С тобой венец разделят свой...²

Показывая нам юмористическую сторону жизни, он учил плакать и смеяться честно и искренно,— и этим особенно дорога нам его память. Недалеко ходить и за утешением: уже очень давно сказано: «Жить после смерти в сердцах тех, кого покидаем, — не значит умереть».

¹ Подразумевается служба Островского начальником репертуара московских театров.

² Строки из стихотворения Ф. Миллера, прочтенного им 9 апреля 1872 на вечере, посвященном двадцатипятилетию литературно-драматической деятельности Островского.